Марина, Ариадна, Сергей

Виталий Александрович Шенталинский

SHOUT
SHARE
IT

-
- ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
  -
  - «Муха в паутине»
  - «Исправьте, пока не поздно»
  - «И лучшего человека не встретила»
  - «Ты уцелеешь на скрижалях»

Опубликовано в журнале:
«Новый Мир» 1997, № 4

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
МАРИНА, АРИАДНА, СЕРГЕЙ

Марина Цветаева вечный упрек людям: как вы могли так жить, рядом с ней? И не помогли, не удержали на земле, лишили и самой нищенской доли. Поэта без легенды не бывает, но и без реальной человеческой судьбы тоже. И эта «реальная» Цветаева по–прежнему загадочна и неуловима. Часть ее архива не случайно была закрыта дочерью Ариадной до 2000 года.

В темных недрах НКВД, лубянских архивах, отпечатались следы ее судьбы, открываются материалы о самой мрачной последней поре ее жизни. Некоторые из них уже увидели свет, стали достоянием читателя. Но многое все еще остается в тени. Открытие Цветаевой продолжается.

В июне 1939 года Марина Цветаева вместе с четырнадцатилетним сыном Георгием (Муром) вернулась из эмиграции. Родина встретила ее мачехой не как поэта и полноправную, законную гражданку, а как подозрительную белогвардейку, жену провалившегося в Париже советского агента…

У человека несколько ступеней на пути к правде, и первая обычно отрицание, нежелание верить. Цветаева жена чекиста?! Когда–то слухи об этом вызвали резкий протест, отторжение немыслимо: Маринин Сережа Эфрон, лебедь из белой стаи, советский шпион! Теперь это знают все. А Марина? Когда узнала она?..

Муж и дочь Ариадна приехали в Москву двумя годами раньше, теперь вся семья была в сборе. Не надолго чуть больше двух месяцев подарила им судьба до катастрофы. Приближение ее Цветаева предчувствовала недаром ее называли «колдуньей»: еще когда очутилась на пароходе, увозившем ее в Россию, сказала: «Теперь я погибла…»

И первая весть на родной земле обухом: сестра Анастасия в концлагере.

Сразу после приезда отправились в Болшево, на дачу НКВД, которая была выделена под жилье переправленным из Парижа после провала агентам Эфрону и супругам Клепининым.

Семнадцать лет назад, когда Марина уезжала в эмиграцию, в одном купе с ней оказалась дама из ЧК. Уезжала с чекисткой и вернулась к чекистам и жить стала в казенном доме. Пришлось таить свое присутствие, жить инкогнито, остерегаться каждого действия и слова, чтобы не повредить близким. Спустя год, в

дневнике, Цветаева вспомнит об этих днях так: «…Неуют… Постепенное щемление сердца… Живу без бумаг, никому не показываясь… Обертон унтертон всего жуть… Болезнь С. Страх его сердечного страха… Полны руки дела… Погреб: 100 раз в день. Когда писать?? …Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого держаться…»

А в августе начались события, о которых Цветаева скажет:

«(Разворачиваю рану, живое мясо. Короче:) 27-го в ночь отъезд Али. Аля веселая, держится браво. Отшучивается… Уходит, не прощаясь! Я что же ты, Аля, так ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо отмахивается! Комендант (старик, с добротой) Тбк лучше. Долгие проводы лишние слезы…»

«Муха в паутине»

Уже рассвело, когда черная «эмка» увозила ее, она оглянулась и увидела сквозь слезы: крыльцо и тесно сбившихся на нем родных, растерянных, бледных, машут руками. Не могла и подумать, что прощается навсегда…

Петлю на этот дом накинули давно и вот начали стягивать.

Двадцатисемилетняя журналистка и художница, восторженная сторонни ца советской власти, приехавшая из Парижа, чтобы вместе со своим народом строить социализм, была объявлена французской шпионкой. Показания на нее дал ее давний знакомый, журналист Павел Толстой, арестованный чуть раньше: «Я был связан по шпионской работе с Эфрон Ариадной Сергеевной, сотрудницей журнала «Ревю де Моску»…»

Первый, пробный, допрос, проведенный старшим следователем лейтенан том Н. М. Кузьминовым, не дал ничего все обвинения Ариадна отвергла. Неделю ее не трогали, а потом взяли в оборот.

О том, что происходило с ней на Лубянке, сама Ариадна скажет только через пятнадцать с лишним лет, в своих заявлениях властям (они тоже сохранились в деле):

«Когда я была арестована, следствие потребовало от меня: 1) признания, что я являюсь агентом французской разведки, 2) признания, что моему отцу об этом известно, 3) признания в том, что мне известно со слов отца о его принадлежности к французской разведке, причем избивать меня начали с первого же допроса.

Допросы велись круглосуточно, конвейером, спать не давали, держали в карцере босиком, раздетую, избивали резиновыми «дамскими вопросниками», угрожали расстрелом и т. д.».

В другом заявлении она добавляет: не только угрожали, но и проводили инсценировки расстрела. На все просьбы предъявить хоть какие–нибудь доказательства ее вины, дать очную ставку со свидетелями преступления следовала брань. Если сам нарком, товарищ Берия, интересуется твоим делом и подписал постановление на арест никакой надежды для тебя нет, выход один: признать себя виновной.

В документах следствия вся эта подноготная суть, конечно, скрыта. Но по всему видно, что на первых порах Ариадна держалась стойко допросы в течение семи дней, иногда по восемь часов подряд, закончились без результата. Тогда–то к ней и применили более сильные меры посадили в карцер, инсценировали расстрел. Потом, измученную, снова привели к

следователям, дали бумагу и приказали: не хочешь говорить пиши!

И она пишет, подробно, чистосердечно рассказывает о себе, с самого детства, о матери, об отце, об их тяжелой, нищенской жизни в эмиграции:

«…С 1925 по 1929 г. мать продолжала сотрудничать в эмигрантских изданиях и более или менее регулярно зарабатывала литературным трудом. Однако с 1929 года ее положение начало становиться все более трудным. За все свое пребывание за границей она не примкнула ни к одной политической группировке и вообще не принимала участия в политической жизни эмиграции. В последний приезд Владимира Маяковского в Париж она, по просьбе редколлегии «Евразии», выступила в этой газете с приветствием

Маяковскому. Это ее выступление вызвало возмущение в эмигрантских кругах, и печатать ее стали неохотно…

После закрытия «Евразии» нам некоторое время жилось материально очень трудно. Отец время от времени получал случайную работу (был одно время статистом в кино), мать зарабатывала тоже нерегулярно, я прирабаты вала на дому вязанием…»

1931 год. Сергей Эфрон опасно заболевает это уже третье возобновле ние туберкулезного процесса. Настроение в доме тяжелое.

Однажды Ариадна с отцом остались дома вдвоем. Он лежал на постели, ему было плохо. Он попросил дочь сесть рядом на кровать, обнял, погладил по голове и вдруг расплакался.

«Я очень испугалась, вспоминает в показаниях Ариадна, и начала плакать тоже… Он сказал: «Я порчу жизнь тебе и маме». Я решила, что он мучается тем, что нам живется трудно материально и что он не может этому помочь, и стала утешать его и говорить, что живется нам совсем не хуже, чем другим, и что материальное положение наше хотя и тяжелое, но не до такой степени, чтоб приходить из–за него в отчаяние.

Тогда папа сказал: «Ты еще маленькая, ты ничего не знаешь и не понимаешь. Не дай тебе Бог испытать когда–нибудь столько горя, как мне». Я ему на это сказала, что горя, конечно, было немало, но что, наверное, потом будет легче и все тяжелое пройдет. Папа сказал мне, что для него жизнь может пойти только хуже и труднее, чем было раньше. Я думала, что весь этот разговор был связан с заболеванием отца, и сказала, что когда он поправится и сможет работать, то все, несомненно, пойдет лучше. Тогда папа опять повторил о том, что я маленькая и ничего не знаю, о том, что он боится, что погубил жизнь своей семьи, и

прибавил: «Ты ведь не знаешь и не можешь знать, как мне тяжело, запутался, как муха в паутине, и пути мне нет».

Потом сказал мне, что я должна учиться и работать, стараться пробить себе дорогу в жизнь, стать настоящим человеком, что я слишком пассивна и недостаточно думаю о своем будущем, о своей жизни. Потом прибавил: «А не лучше ли было бы, если бы я оставил вас и жил бы один?» Это меня испугало, и я сказала, что ни в коем случае он не должен делать этого, что мы одна семья и что нам вместе легче все переносить. Тогда он спросил, люблю ли я его. Я сказала, что, конечно, да. Он задумался и прибавил: «И твоя мать очень любит меня, и мы с ней много прожили. Я не знаю, что мне делать с собой и со всеми вами». После этого он попросил не рассказывать об этом разговоре матери, чтобы не волновать ее, я обещала и действительно не рассказывала…»

Вскоре Эфрон уехал лечиться в Савойю, в пансион «Chbteau d'Arcine», близ швейцарской границы. Ариадна навестила его и с месяц прожила там. Он по–прежнему был в депрессии, несколько раз порывался начать с ней какой–то серьезный разговор как она поняла, об уходе из семьи, разводе с матерью, что ей было совершенно непонятно: ведь отец с матерью всегда жили в согласии и дружбе и очень любили друг друга.

Но в Париж Сергей Яковлевич вернулс окрепший и бодрый. Казалось, все его душевные терзания отступили вместе с болезнью, он перешел какой–то важный рубеж, да и внешне жизнь его круто изменилась.

«Постепенно мне становилось все более и более очевидным, пишет Ариадна, что отец, а также его товарищи по евразийской группе ведут какую–то секретную работу. Отец стал часто отлучаться из дому, а иногда уезжал на несколько дней. Определенной работы у него, равно как и у его товарищей, не было, однако люди как–то продолжали существовать. В доме появились советские газеты, журналы, беседы между отцом и его товарищами велись на советские темы. Антисоветские выступления белоэмигрантской прессы подвергались в моем присутствии неоднократной резкой критике.

Поведение этих людей, разговоры неоднократно наводили меня на мысль, что они ведут большую работу для Советского Союза. Со временем смогла определить, кто из них на каком участке работает, кто с кем связан, а также, как кто относится друг к другу. Таким образом, я узнала, что часть этих людей связана с французскими кругами, часть с белоэмигрантскими. Про отца мне стало известно, что он ведет руководящую работу в Союзе возвращения на Родину, а потом, что эта его явная работа

служит лишь прикрытием для работы секретного порядка. Я неоднократно обращалась к отцу с просьбой привлечь меня к своей работе, но он каждый раз либо отводил разговор, либо отвечал мне отказом, мотивируя это тем, что работа очень опасная, что я слишком молода, что работать так, как работает он, значит всегда рисковать жизнью…

Лично моя жизнь в этот период складывалась очень неудачно… Дома тоже не ладилось, возникали споры и трения между мной и матерью… Через некоторое время мне удалось через знакомых найти работу медсестрой в зубоврачебном кабинете. На почве этой работы мы окончательно поссорились с матерью. Она была решительно против того, чтобы я поступила на работу, ей была постоянно нужна моя помощь дома, и она сказала, чтобы я выбирала: или жизнь дома, или работа. «Но если выберешь работу, то между нами все кончено». Я выбрала работу. Работа была трудная, совсем не по специаль ности, первое время только училась там, на месте, денег никаких не получала, работала часов по двенадцать в сутки, из дома уходила рано, возвращалась поздно, ссоры и споры с матерью продолжались…

Этот период моей жизни в эмиграции был для меня самым тяжелым. Моя попытка самостоятельно работать окончилась плачевно… Хозяин, проэксплуатировав меня некоторое время, воспользовался моей болезнью, чтобы выставить меня на улицу. «Возвращаться» домой (хотя фактически из дома я не уходила и все это время продолжала жить в семье), признаться самой себе и другим в том, что мать была права, я не хотела. Мне было уже около 20 21 года, а я оказывалась неспособной жить самостоятельно и зарабатывать если не на семью, то хоть на себя самою…

Выхода я себе не видела и решила умереть. Написала классическую записку ко всем вместе и никому в отдельности и, воспользовавшись отсутствием домашних, открыла на кухне газ. Но домой случайно вернулся отец, которого я не ждала, выволок мен из кухни в полубессознательном состоянии, привел меня в чувство, и тут у нас произошел разговор…

Отец мне сказал, что то, что я чуть не сделала, глупо и могло бы быть непоправимым, что стыдно в моем возрасте, когда все впереди, считать, что жизнь кончена. Потом сказал, что его жизнь гораздо тяжелей, чем моя, что он, однако, живет. И что если уж у кого и должны быть причины желать смерти, то у него, а никак не у меня. Я ему ответила, что ему жаловаться нечего, что он живет, как он хочет, ведет большую работу на свою страну, а что мне он в этой работе отказывает, что у меня нет даже этого…»

Но не для того следователи дали в руки Ариадны перо, чтобы

она делилась с ними своими переживаниями. Им было нужно совсем другое. И вот в ее показаниях появляются туманные, сбивчивые, явно надуманные места:

«Во время этой беседы, которая продолжалась довольно долго, отец мне сказал, что его положение тяжело и безвыходно тем, что в СССР он лично никогда вернуться не сможет. На мой вопрос, загладил ли он свои прежние проступки против Советской власти всей своей работой на Советский Союз, он мне ответил, что своих проступков он загладить не может, что он запутался так, что выбраться ему невозможно, и что в своих действиях он не волен, что именно поэтому он отказывал мне неоднократно в моей просьбе принять участие в его работе на Советский Союз. Когда я попросила его уточнить, он сказал мне, что вынужден работать не только на СССР, что принужден он к этому силой и что выйти из этого положения он не может, что он находится в крепких руках. На кого он работает, помимо СССР, он

мне не сообщил. Это известие меня очень поразило, так как я всегда считала, что отец работает только на Советский Союз.

Тогда отец сказал мне, что для меня есть только один путь, единственно правильный, а именно вернуться в Советский Союз, начать там новую жизнь, забыть о том, что у меня было, работать только по специальности, серьезно, не разбрасываясь. Что я должна забыть о происшедшем сегодня разговоре и никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не говорить об этом. Я спросила его, не подвергнусь ли я опасности, если вернусь в СССР. Но он мне сказал, что нет, что он известен как советский работник… и что бояться мне нечего, что единственное… чего он хочет для меня, это счастья и покоя…»

При этом разговоре отец пообещал достать Ариадне советский паспорт и посоветовал вступить в Союз возвращения на Родину, что она вскоре и сделала. Далее Ариадна сообщает о том, что она почти не представляла себе, в чем состоит секретная работа ее отца, однако «впоследствии обнаружилось, что часть людей, связанных с отцом, в свою очередь, связана с иностранными разведками, я решила, что и у отца то же самое и что «так надо»… Однажды мне удалось обнаружить, что велась слежка за сыном Троцкого Седовым, и уже незадолго до моего отъезда в СССР о том, что посылаются люди в Испанию. Это последнее дело, ввиду его большого масштаба, очевидно, было трудно конспирировать соответствующим образом…».

Отец выполнил обещание: Ариадна получила советский паспорт и в 1937 году смогла вернуться на родину. Перед отъездом отец сказал ей, что он мечтает отправить вслед за ней и ее младшего брата, если удастся договориться об этом с мамой,

но что они сами он и Марина наверное останутся в Париже.

Не прошло и года, как вдруг Сергей Эфрон с группой его товарищей по секретной работе появился в Москве. Свой приезд он объяснил дочери провалом одного очень крупного дела, в результате которого они должны были бежать, а ряд лиц был задержан французской полицией.

«Крупное дело» это так называемое дело Рейсса, убийство советского разведчика Игнати Рейсса (Порецкого), перебежавшего на Запад и заявившего открыто в печати о своем разрыве со сталинским режимом. Именно из–за провала агентуры после этого убийства Эфрону и пришлось спешно покинуть Францию.

Несмотря на весь «комплекс мер», пытки физические и моральные, следствие не получило от Ариадны никаких конкретных показаний о ее антисоветской деятельности. Шпионаж же ее отца, конечно, налицо но какой! в пользу Советского Союза! Смутные фразы о работе «на других» еще не доказательство.

Ничего «подозрительного» в поведении своего отца на Родине Ариадна не замечала. Больше того, он был единственным из всей сбежавшей из Парижа «группы провала», кто досконально исполнял все распоряжения о конспирации даже и тогда, когда для этого не было повода: не встречался ни с кем из своих прежних знакомых, а с коллегами по секретной работе только с разрешения НКВД.

27 сентября разъяренный Кузьминов и его подручный, младший лейтенант А. И. Иванов, тащат Ариадну на решающий допрос. Сколько он продолжался, в протоколе не указано. Что на самом деле говорила своим палачам измученная Ариадна, мы тоже никогда не узнаем перед нами только состряпанная следователями бумага, под которой ее вынудили подписаться. Ясно, что черновиком для протокола послужили ее собственноручные показания, «творчески» переработанные и дополненные тенденциозными формулировками и обвинениями.

При этом следователи сделали попытку втянуть в преступную цепочку отец дочь и Марину:

«…Вопрос. Только ли желание жить вместе с мужем побудило вашу мать выехать за границу?

Ответ. Конечно, нет, моя мать, как и отец, враждебно встретила приход Советской власти и не считала для себя возможным примириться с ее существованием…

Вопрос. Состояли ли ваши родители в белоэмигрантских организациях, враждебных СССР?

Ответ. Да, моя мать принимала активное участие в издававшемся за границей журнале «Воля России», помещая на

страницах этого журнала свои стихи…»

Вот все, что удалось выжать из Ариадны о преступлениях ее матери.

А теперь покажите, какие мотивы побудили вас вернуться в СССР.

Я решила вернуться на родину, отвечает Ариадна. Я не преследо вала цели вести работу против СССР…

Это ее последний правдивый ответ на допросе. Мы можем только представить себе, что за ним последовало. Но дальше в протоколе идет фраза, которой столько добивались следователи:

«Я признаю себя виновной в том, что с декабря месяца 1936 г. являюсь агентом французской разведки, от которой имела задание вести в СССР шпионскую работу…»

Наконец–то! Признание было вырвано, следователи могли торжествовать: на полях протокола против этой ключевой фразы стоят ликующие восклица тельные знаки.

И дальше следствие уже покатилось в заданном направлении. Одна ложь потянула за собой другие. Сломленная пытками девушка больше не сопротивлялась подписывала все, что от нее требовали. Ведь мало признать себя виновной, надо еще доказать это. Тут опять пошли в ход ее собственноручные показания.

В них Ариадна вспоминала о своем сотрудничестве в парижском журнале «Франция СССР», дружбе с его редактором Полем Мерлем, который предложил ей перед отъездом в Советский Союз стать собственным корреспон дентом журнала. Этот Поль Мерль должен был сразу показаться Лубянке лицом подозрительным.

А вы не боитесь ехать? спросил он Ариадну в последнюю встречу.

Чего мне бояться?

Ну вы же знаете о тех судебных процессах, которые происходят в Москве. Можно себе представить, с каким недоверием встретят там человека, прибывшего из–за границы. Я боюсь, вам там трудно будет устроиться… Кстати о процессах: отчего это все обвиняемые признались вот что я не могу понять. Люди идейные, борцы, вдруг не только подтверждают свои преступления в суде, но и раскаиваются. Я не понимаю, что с ними всеми сделали на следствии. Если бы их били и мучили, то велики были бы шансы на то, что они разоблачили бы это во время суда. У нас говорят, что их загипнотизировали, но это уж слишком глупо звучит. Неужели следствие велось таким образом, что обвиняемые искренне признались в своих преступлениях против Советской власти?..

Как в воду глядел редактор, напутствуя неопытную

сотрудницу! Теперь–то она уж смогла бы ответить ему. И счастье француза, что он жил в Париже. Ибо следствие велось «таким образом», что и он сам, не ведая того, стал преступником.

Протокол допроса Ариадны бесстрастно повествует:

«Вопрос. Как вы были привлечены для шпионской работы в пользу французской разведки?

Ответ. К сотрудничеству с французской разведкой я была привлечена Полем Мерлем незадолго до моего отъезда в Советский Союз.

Вопрос. Кто такой Поль Мерль?

Ответ. Поль Мерль формально является редактором журнала Франция СССР.

Вопрос. А в действительности?

Ответ. А в действительности, хотя прямо он не говорил, мне стало ясно, что Мерль является резидентом французской разведки…»

Вот так вербует французская разведка не говоря, что она разведка. И вот что интересует французскую разведку: материалы об антисоветских настроениях выдающихся работников советского искусства, театра и других представителей советской интеллигенции, о жизни и работе отдельных заводов и колхозов… Никаких конкретных примеров шпионской деятельности Ариадны следователи, при всем их воображении, придумать не смогли. Да, видимо, и не пытались зачем? По блестящей формуле советского правосудия, признание обвиняемого царица доказательств!

Зато на том же допросе они получили подпись Ариадны под еще одним крайне важным для них показанием, возникшим в протоколе неожиданно, без всякого наводящего вопроса:

«Не желая скрывать чего–либо от следствия, должна сообщить о том, что мой отец Эфрон Сергей Яковлевич, так же как и я, является агентом французской разведки…»

Доказательства? Снова берутся и препарируются в нужном духе ее собственноручные записи сцены разговоров с отцом во время его болезни и когда он спас ее от газа. Лирику долой, остается фраза: «Отец ответил, что своих преступлений перед Советским Союзом он искупить никогда не сможет, что он работает не только на СССР, но и на других…» и получает в протоколе допроса такое продолжение:

«Вопрос. На кого именно он работает?

Ответ. Отец не сказал, но для меня и без того ясно, что речь идет о французской разведке…»

Опять как и с Мерлем: не сказал ничего, но и без того ясно…

Истинную подоплеку истории сотрудничества с парижским

редактором Ариадна раскрыла много лет спустя в заявлении Генеральному прокурору оно подшито в той же папке следственного дела и, по существу, перечерки вает всю обвинительную его часть:

«Под давлением следстви была вынуждена оговорить себя и признать себя виновной в шпионской связи с французским журналистом Полем Мерлем… Несмотря на то что мои показания являлись сплошным вымыслом, они удовлетворили следственные органы, что явилось лишним доказательством того, что органы не располагали никакими компрометирующими меня материалами. На самом же деле знакомство мое с этим журналом сводилось к следующему. Незадолго перед своим отъездом в СССР я получила от тов. Ларина, секретаря Союза возвращения на Родину (организация эта являлась одним из замаскированных опорных пунктов нашей контрразведки в Париже и финансировалась нами), предложение сделать несколько переводов и очерков по материалам советской прессы на темы литературы и искусства в журнале «Франция СССР», и Ларин познакомил меня с редактором этого журнала Полем Мерлем. Указанную выше работу я выполнила, и она была напечатана в журнале. Поль Мерль, узнав от меня о моем скором отъезде в СССР, предложил мне быть корреспондентом этого журнала в Советском Союзе. Свое согласие я дала лишь после того, как Поль Мерль, обратившийся по этому вопросу в советское посольство в Париже, получил официальное разрешение от тогдашнего полпреда (кажется, это был тов. Майский)…

Являясь членом семьи работника советской разведки, я постоянно поддерживала связь с органами НКВД через работника этих органов Степанову Зинаиду Семеновну. Я немедленно, тотчас же по приезде в Москву, поставила ее в известность о своей связи с журналом «Франция СССР» и просила проинструктировать меня о дальнейших взаимоотношениях с ним.

Она согласовала этот вопрос и сообщила, что руководство не рекомендует мне работать в журнале «Франция СССР» и поддерживать связь с его сотрудниками, ввиду того что органы не располагают о них достаточными данными и не находят возможности в данное время занятьс их проверкой. Таким образом, я, не отправив во Францию ни одной корреспонденции, связь эту по указанию органов порвала еще в начале 1937 г. и с тех пор ничего не знаю ни об этом журнале, ни о его сотрудниках.

Несмотря на мои неоднократные просьбы, следствие категорически отказалось допросить Степанову, котора могла подтвердить мою невиновность, и приложить ее показания к

моему делу. Так же и официальное разрешение нашего полпредства на мое сотрудничество в журнале «Франция СССР», изъятое у меня при обыске и находящееся в материалах следствия, оказалось «утерянным» и к делу приложено не было.

Применяя указанные выше недозволенные методы следствия, следователи Кузьминов и другие выколотили из меня ложные показания против моего отца. Несмотря на все давление следствия, я тотчас же отказалась от этих показаний и требовала прокурора, а последний зафиксировал мой отказ только много времени спустя, т. е. тогда, когда показания эти сыграли свою роль при аресте моего отца…»

В других заявлениях властям Ариадна дополняет:

«На протяжении всех лет своей разведывательной работы отец пользовался доверием и уважением своего руководства, как за границей, так и в СССР. Но с приходом Берии в органы НКВД отношение к отцу и к приехавшим с ним товарищам резко изменилось. Все прежнее руководство было арестовано, а новое занялось раздуванием вражды, сплетен, склок среди этой небольшой, недавно сплоченной и дружной группы людей, натравливая их друг на друга, собирая у одних ложные, компрометирующие сведения о других и т. д.

Так, помню, т. Клепинин — Львов, живший вместе с нами в Болшеве, стал расспрашивать моего отца, не был ли тот дворянского происхождения, много ли у него было недвижимого имущества до революции, и старался добитьс утвердительных ответов. Отец же, никогда не бывший ни дворянином, ни капиталистом, был удивлен и удручен таким «допросом». Этот небольшой случай припомнился мне, когда я, арестованная в августе 1939 года, находилась под следствием и меня, наряду с другими дикими и ложными вещами, заставляли сказать об отце один день что он был дворянином, другой день евреем, третий капиталистом и пр.

Кто именно из бериевского руководства ведал этой группой людей, и в частности моим отцом, мне неизвестно, хотя некоторых из них я видела, провожа больного отца на свидание с ними.

Так, запомнился мне небольшого роста худощавый армянин или грузин средних лет, приходивший на свидание с отцом в гражданской одежде, но с оружием. Он присутствовал при моих первых допросах и задавал мне вопросы вроде: «А сколько человек ваш отец продал французской разведке?» Потом следователь сказал мне, что это один из заместителей Берии…»

«В те годы мне, человеку тогда молодому и малоопытному, невозможно было разобраться в истинных причинах моего ареста

и ареста отца. Я знала, что обвинения были ложными, была убеждена, что об этом не могли не знать органы НКВД, но не могла понять, кому и для чего все это было нужно. Только разоблачение Берии дало мне на это ответ.

Я упоминаю здесь о деле отца, потому что думаю, что именно оно являлось причиной и объяснением моего дела. Я была арестована без малейших серьезных данных, с тем чтобы, признав свою вину, скомпрометировать отца, с тем чтобы, дав против него под давлением следствия ложные данные, помочь Берии уничтожить целую группу советской разведки. Это также является доказательством того, что следственные органы не располагали фактическими материалами против моего отца, иначе они не нуждались бы в ложных пока

заниях…»

Ариадна верно определила причину своего ареста она была нужна НКВД лишь как орудие против ее отца. И теперь они могли отправиться в Болшево за следующей жертвой.

А что делалось тем временем на болшевской даче?

Осень. Там наступила осень. С хмурого неба зачастил холодный, беспросветный дождь.

Все немногие свидетели жизни Сергея Эфрона в Болшеве говорят о какой–то резкой перемене в нем: замечали то затравленный взгляд, то нервные срывы с рыданиями, то каменное оцепенение…

8 октября день их рождения, и Марины, и Сергея: ей сорок семь, ему сорок шесть. Было не до праздников. Полтора месяца в семье ждали чуда: вот распахнется калитка и появится улыбающаяся Аля…

10 октября, рано утром, калитка распахнулась… Вежливые истуканы в форме, ордер с подписью Берии, кавардак обыска, какие–то формальные подписи, вещи первой необходимости в рюкзачок. На прощанье Марина осенила Серге широким крестным знамением…

В постановлении на арест фигурировали показания все того же Толстого, что он был завербован во французскую разведку ее резидентом белоэмиг рантом Эфроном, и, конечно же, быстро пущенное в ход «признание» Ариадны.

Обычна процедура на Лубянке фотографирование, отпечатки пальцев, заполнение анкеты: «Эфрон Сергей Яковлевич, литератор, место службы был на учете НКВД, беспартийный, русский…»

В это же утро следователь тот же Кузьминов, что вел дело Ариадны, подверг арестованного изнурительному допросу. Эфрон подробнейшим образом изложил свою биографию. Не скрывал,

что боролся против большевиков в годы революции и Гражданской войны, потом бежал с армией генерала Врангеля за границу. Оказался в Праге, перебрался с семьей в Париж и там вступил в группировку евразийцев.

Каковы были программа и установки евразийцев? спрашивает Кузьминов.

Я вступил в левую группу евразийцев в 1927 году… Вначале это была попытка создани фашистско–русской идеологии, а впоследствии организация стояла на позициях «советы без коммунистов». Та группа, к которой принадлежал я, в 1928 1929 годах совершенно разочаровалась в этих взглядах и стала на советскую платформу. При этом мы старались использовать евразийскую печать для советской пропаганды в эмиграции…

Следствие вам не верит, говорит Кузьминов. Какие у вас отношения с дочерью?

Дружеские, товарищеские…

Что вам известно об антисоветской работе вашей дочери?

Мне об этом ничего не известно.

А какую антисоветскую работу проводила ваша жена?

Никакой антисоветской работы моя жена не вела. Она всю жизнь писала стихи и прозу. В некоторых своих произведениях она высказывала взгляды несоветские…

Не совсем это так, как вы изображаете. Мы знаем, например, что в Праге ваша жена активно участвовала в издаваемых эсерами газетах и журналах. Ведь это факт?

Да, это факт. Она была эмигранткой и писала в эмигрантские газеты, но антисоветской деятельностью она не занималась.

Непонятно. Белоэмигранты в своих изданиях излагали тактические установки борьбы против СССР. Что может быть общего с ними у человека, не разделяющего этих установок?

Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась в белоэмигрантской прессе, однако никакой политической антисоветской работы она не вела…

Попытка замешать в дело Цветаеву не удалась.

Следствие вам не верит. Допрос прерывается.

На следующий день Эфрона переводят в Лефортово тюрьму, которой следователи пугали неподдающихся арестованных и откуда те редко выходили живыми. Каждый день его водят на допросы (об этом свидетельствует справка, данная тюремным начальством), но протоколов их в деле нет, что может значить только одно: выбить нужные показания следователи не могут. А состояние их подопечного уже таково, что приходится проводить медицинское освидетельствование.

Начальник санчасти Лефортовской тюрьмы военврач Яншин

пишет заключение:

«Арестованный Эфрон, 46 лет, высокого роста, правильного телосложе ния… страдает частыми приступами грудной жабы, хроническим миокарди том, в резкой форме неврастенией, а поэтому работать с ним следственным органам можно при следующих обстоятельствах: 1) дневное занятие и непродол жительное время, не более 2 3 часов в сутки; 2) в спокойной обстановке; 3) при повседневном врачебном наблюдении; 4) с хорошей вентиляцией в кабинете».

24 октября Эфрона помещают в психиатрическое отделение Бутырской тюрьмы. И оттуда, прямо с больничной койки, снова тащат на допрос к Кузьминову. Предъявив обвинение, следователь получает прежний ответ:

Я не виновен. Ни с какой разведкой иностранного государства связан не был.

Допрос прерывается привычной фразой:

Вы говорите неправду, следствие вам не верит…

Цветаева с сыном Муром оказались без средств, в неизвестности как, чем жить? Днем собирают хворост для печи дров нет. Ночью она не спит, прислушивается, вздрагивает: теперь придут за ней… Что тогда будет с Муром? Надвигается зима. Весь их багаж все теплые вещи, отправленные из Парижа, застрял на таможне, а получить не удается. Как пережить зиму без самого необходимого, кто поможет?

Багаж это не просто вещи, там ее рабочие тетради, книги, прерванный труд, ее внутренний дом, последнее убежище.

Тогда она и пишет свое первое письмо на Лубянку.

«В Следственную часть НКВД

При отъезде из–за границы в Союз я отправила свой багаж по адресу дочери, так как не могла тогда точно знать, где поселюсь по возвращении в Москву.

По прибытии сюда я в течение двух месяцев еще не имела паспорта и поэтому не могла получить багажа, пришедшего в начале августа с. г.

В соответствии с указанием таможни я получила от моей дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон, доверенность на принадлежащий мне багаж. Но получить его я тоже еще не могла из–за отсутствия у меня свидетельства с пограничного пункта, которого у меня не имелось, так как я, с сыном 14 лет, ехала специальным пароходом до Ленинграда.

Было возбуждено соответствующее ходатайство о выдаче мне необходи мого документа. В это же время, в конце августа, была арестована моя дочь, и багаж оказался, по–видимому, задержанным на таможне.

Я живу за городом, наступает зима, ни у меня, ни у сына нет теплой одежды, одеял и обуви, и пока что нет возможности приобрести таковые заново.

Настоящим ходатайствую, в случае если невозможно сейчас получить всего мне принадлежащего багажа, о разрешении на получение мною из него са

мых необходимых мне и сыну вещей, без которых я не вижу, как мы перезимуем.

О Вашем решении по этому вопросу очень прошу поставить мен в известность.

Марина Цветаева.

Ст. Болшево Северной ж. д. Поселок Новый Быт, дача 4/33.

31 октября 1939 г.».

Когда письмо попало в НКВД, его передали помощнику начальника следчасти старшему лейтенанту А. К. Шкурину тому, кто руководил следствием по делу Сергея и Ариадны Эфрон. Ему не до цветаевского багажа: идут беспрерывные допросы и не ясно еще, понадобятся ли этой женщине теплые вещи не займет ли она вскоре камеру по соседству с мужем и дочерью. Из материалов дела видно, что Павел Толстой дал повод НКВД арестовать не только Ариадну и Сергея, но и ее, Марину. Вот его собственноручные показания:

«…Эфрон (Ариадну. *В. Ш.*) я знаю еще по Парижу. Когда я уезжал в 1933 г., Эфрон была еще почти девочкой, ей было тогда только около 16 17 лет, но она уже ярко выражала свои антисоветские настроения, вместе с матерью (женой Сергея Эфрона, довольно известной поэтессой Мариной Цветаевой). Марина в настоящий момент находится в Париже, по паспорту эмигрантки, и убеждений самых махровых монархических. Пусть это не покажется странным, но ни Эфрону, с его троцкистской, ни Марине, с ее монархической идеологией, не мешают как будто исключающие взаимно друг друга точки зрения: они прекрасно уживаются друг с другом, так как они оба, в конечном счете, стремятся к одному возврату к прошлому. Но в 1937 г. мне это еще не совсем было ясно, и поэтому, когда я узнал, что в СССР в скором времени приезжает Аля Эфрон, я был несколько озадачен, т. к. хорошо знал Алины и Маринины взгляды, бывая часто у Эфронов…

Если я не ошибаюсь, в ноябре декабре прошлого года, встретившись со мной, Аля рассказала мне в первый раз о том, что она разошлась в убеждениях со своей матерью и стала бывать среди знакомых ее отца, но в то же время и не отказывалась видетьс с друзьями своей матери, в частности с известным белогвардейским писателем Иваном Буниным…

К <…> Эфрона Марина Ивановна относилась отрицательно (вычеркнутые в этой фразе слова, вероятно, касались его просоветских взглядов или службы в НКВД. *В. Ш.*). Она пользовалась известностью как поэтесса… Мне известно также, что она сохранила дружбу с советскими писателями Борисом Пастернаком и Михаилом Булгаковым. Последнему Марина Цветаева послала в подарок мундштук из слоновой кости в память «Дней Турбиных».

Что касается ее политических убеждений, то у нее как у поэта, особенно у женского поэта, был, по–видимому, полный хаос в голове. Я помню, что в «Правде» Д. Бедный выступил со стихами, в которых осмеивал поэтессу Цветаеву, котора пишет поэму о расстреле Николая II… С другой стороны, она, кроме Пастернака и Булгакова, переписывалась с А. М. Горьким, о котором отзывалась очень хорошо… Ее положение как поэтессы, которая живет поэзией, заставляло ее печатать ее произведения в разнообразных белоэмигрантских изданиях и поддерживать отношения с целым рядом лиц из среды белоэмигрантов. Она также, как мне известно, была дружна с бывшим евразийцем Д. Святополк — Мирским, литературным критиком…»

А в Болшеве, пока Цветаева ждет ответа на письмо, события идут своим ходом. В красный праздник Октября черная машина опять останавливается у калитки снова топот ног, стук в дверь, обыск, на этот раз увозят Николая Андреевича Клепинина. В тот же день была арестована в Москве его жена Антонина Николаевна.

И Марина не выдерживает: спешно собравшись и захватив лишь то, что

можно унести с собой, бежит вместе с сыном в Москву, скитаться по людям. Вон из этого проклятого места!

Станци Болшево, поселок Новый Быт… Даже название звучало издевательски для ее слуха! Слово «быт» было ненавистным, а Болшево аукалось с большевиками, которых она называла врагами русского языка. Жизнь поэта сплошная метафора. Весной Цветаева заедет сюда за вещами и увидит: дом захвачен какими–то незаконными жильцами, вещи разворованы и гроб стоит: повесился в ее комнате! начальник местной милиции… И снова кинется прочь!

А багаж из Парижа Цветаева получит, но только летом следующего года.

«Исправьте, пока не поздно»

Аля могла рассказать Павлу Толстому о своей последней встрече с «известным белогвардейским писателем Иваном Буниным» встрече, которая поразила, запала в душу.

Ну куда ты, дура, едешь? Ну зачем? Ах, Россия… Куда тебя несет?.. Тебя посадят…

Меня? За что?

А вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить босиком и набьешь верблюжьи пятки!..

Я?! Верблюжьи?!

А на прощанье:

Христос с тобой, и перекрестил. Если бы мне столько лет, сколько тебе, пешком бы пошел в Россию, не то что поехал бы, и пропади оно все пропадом!..

Как это все было странно слышать там, в нестерпимо жаркий июльский день, на Cфte d'Azur. Арест? Стриженая голова? Верблюжьи пятки? Она смеялась над чудачеством старика. Теперь сбывалось…

В следствии Ариадны установилась своеобразная рутина. Два месяца одно и то же: весь октябрь и ноябрь младший лейтенант Иванов теперь она отдана в его руки вызывает ее и засаживает писать собственноручные показания: об эмигрантских организациях в Париже, о всех знакомых в Москве. Потом, на этой основе, «творит» протоколы допросов и снова вызывает подписывать. Ариадна пытается снять свои показания на отца, просит встречи с прокурором все напрасно, от нее просто отмахиваются.

Из лубянских записей Ариадны встает в подробностях жизнь ее семьи на болшевской даче, жизнь странная, призрачная, больше похожая на домашний арест.

В самом деле, вроде бы и свои, наконец вернулись на родину и засекречены, их как бы и нет, даже сменили фамилии: отец живет под придуманной чекистами кличкой Андреев, Клепинины Львовы. Разрешено встречаться только с родными, но и с ними о многом, например о причине приезда отца со товарищи, говорить запрещено. Но, с другой стороны, обо всем и обо всех надо докладывать специально приставленным для контроля энкавэдэшникам. Замкнутая скорлупа с единственным открытым выходом на Лубянку.

Чудовищные слухи о все новых арестах, страхи и подозрения, оглядка и слежка совершенно уродливая жизнь, в которой и люди становятся ненормальными. Дезориентированные и запуганные

НКВД, они не знали, как себя вести, играя порой двойную и тройную роль. В таких условиях проявляется все худшее в человеке на это и расчет.

Ариадна, ослепленная верой в коммунистические идеалы и в справедли вость советской власти, верой, замешанной на страхе за себя, за отца, мать, брата, полная уважения к органам безопасности ведь и ее отец,

высший авторитет, был чекистом! честно сообщала приставленной к ней Зинаиде Степановой о всех фактах расконспирирования или других подозрительных случаях, убежденная, что беды от этого не будет, а вот если не сказать, тогда, конечно, беда. А случаи такие возникали буквально на каждом шагу. От неумения освоиться в этой двусмысленной обстановке, от боязни проштрафиться, а иногда и от чрезмерного усерди люди совершали неловкие поступки и только вредили друг другу.

Ариадна рассказывает о случае, происшедшем, когда Эфрон бежал из Парижа и внезапно оказалс в Москве. «Решив успокоить маму насчет благополучного приезда отца, написала ей по почте письмо, составленное, как мне казалось, настолько в законспирированной форме, что могла понять только мать. Однако мать, получив это письмо, пожаловалась начальству отца в Париже на мою неосторожность, и я получила за это в Москве выговор от Степановой Зинаиды Семеновны, сотрудницы НКВД, с которой мы были все время связаны. Всем лицам, приехавшим из Парижа в это время, было предложено через Степанову пользоваться для переписки с оставшимися во Франции родными дипломатической почтой, а также было запрещено переписываться обычным путем…»

Нетрудно понять, что вся переписка, шедшая через НКВД, подвергалась там строжайшей цензуре, а кроме того, была еще одним способом следить за обитателями болшевской дачи.

Другое происшествие касается возвращения Цветаевой в Москву, которое по приказу НКВД должно было держаться в тайне. И вот на следующий день после приезда матери Ариадне в редакцию позвонил ее приятель, литератор Эмиль Фурманов, и сказал, что он уже знает обо всем от их общего друга Алексея Сеземана (сын Нины Клепининой), и, больше того, успел сообщить новость другим литераторам… «А между тем, пишет Ариадна, Сеземану было известно о том, что о приезде моей матери можно будет рассказать только по получении точных директив НКВД… В конце концов, Алексей Сеземан настолько разболтался, что на него было заведено дело в НКВД и Клепининым, отчиму и матери, было сказано, что если он не

прижмет язык, его арестуют. Клепинины вызвали Сеземана на дачу в Болшево и там пропесочили…»

Этот эпизод, подробно изложенный Ариадной, типичен для царящей в Болшеве атмосферы страха и подозрительности. Припертый к стенке Алексей можно посочувствовать двадцатидвухлетнему парню, который если и сболтнул лишнее, то, разумеется, без всякого умысла, просто по доверчивости, сначала отрицает все. Тогда зовут Алю. Тут Алексей во всем признается и добавляет:

Ну и что, Фурманов мой лучший друг, у меня от него секретов нет.

И про Эфрона он тоже рассказывал Фурманову, ему можно доверять, у него у самого «брат в НКВД работает».

«Об этом разговоре я в свое время сообщила Степановой», спешит добавить Ариадна.

Кто работает на НКВД, а кто нет в самом деле было невозможно понять, все так или иначе оказались затянуты в эту липкую паутину. Аля пришла к выводу, что не только брат Фурманова, но и сам он связан с органами, и, уж совсем переход в своих показаниях на язык чекистов, глубокомысленно замечает: «Если этот человек действительно является сотрудником НКВД, то работу его и жизнь его необходимо организовать таким образом, чтобы она не привлекала внимания со стороны. Если же этот человек связи с НКВД не имеет, то несомненно, что и он сам, и те люди, среди которых он вращается, могут представить исключительный интерес…»

Бедна молодежь! Мало того, что во всех своих действиях она была стеснена, паучьи щупальца органов проникали глубоко в сознание, уродуя его на всю жизнь!

Ариадна со своей натурой цветаевски–максималистской и эфроновски — рыцарской никак не могла приспособиться к реальностям советской жизни, которую издалека слишком идеализировала. В компании своих молодых друзей, таких, как Алексей Сеземан или Эмиль Фурманов, она чувствовала себя белой вороной, и это ее мучило. Те считали Ариадну старомодной и советовали ей не церемониться, найти какого–нибудь парня и «жить как все».

«В спорах на эти темы, исповедуется Ариадна, они часто доводили меня до слез, я уходила, хлопнув дверью… И опять через некоторое время начиналась та же пропаганда. Били меня по чувствительным местам: мол, мои взгляды на любовь мелкобуржуазны, брак как таковой не существует, люди сходятся и расходятся иногда на ночь, иногда на месяцы, редко на долгий срок. «Ты чудачка, все наши товарищи на теб косо смотрят, ты

держишь себя не по–товарищески, не по–советски, как заграничная штучка». Мне всячески внушалось, что тот стиль жизни, в котором живут они, это и есть стиль жизни всей страны, всей молодежи, и что если я веду себя иначе, то я оказываюсь чужим, враждебным человеком.

Фурманов посмеивался и над моей работой, над тем, что я пересиживаю положенные часы, что я стараюсь делать больше и лучше, чем полагается по моим служебным обязанностям. «У нас литераторы так не поступают, говорил он мне. Надо быть круглой идиоткой, чтобы сидеть в редакции дни и ночи за четыреста рублей в месяц. Да и что твой журнал, никто его не знает! Нужно выдвигаться, писать рассказы на советские темы, печатать их в журналах, получать большие деньги…» На мои возражения, что советской жизни я не знаю, он мне советовал «выдумывать так, чтобы было похоже». Весь энтузиазм, всю радость моей работы… окружающие старались осмеять и разбить… Доходило до того, что я действительно начинала сомневаться в своей правоте, думала, а вдруг в самом деле вести себя иначе, чем эти люди, прожившие всю жизнь в Советском Союзе, это и быть мелкобуржуазной? Но все же я должна сказать, что за все это время я не позволила себе ничего такого, за что могла бы впоследствии стыдиться…»

В конце концов, сообщает Ариадна, отношения с Фурмановым кончились тем, что он вдруг предложил ей стать его женой и получил отказ. После этого их общение сошло на нет. А «парня» она в Москве все же нашла и влюбилась всерьез! Этот самый близкий ей человек журналист Самуил Гуревич; последние месяцы ее перед арестом были озарены короткой и яркой вспышкой счастья. Увы, потом, много лет спустя, откроется, что и он совмещал свой журнализм с сотрудничеством в НКВД, и он в свой час падет жертвой этого ненасытного Молоха…

Впрочем, опять же личные переживания Ариадны мало интересовали следователя и, запечатлеваясь в ее записях, в протоколы допросов не попадали. Зато старательно выуживался любой компромат на других интересующих Лубянку лиц. Например что известно Ариадне о писателе Илье Эренбурге?

И она выложила все, что знала, каким видели его русские парижане:

«…Эренбург никогда не был эмигрантом, хотя много и часто бывал за границей, и главным образом в Париже. Говорили, что в последние годы Эренбург чаще был и дольше жил в Париже, чем в Советском Союзе. И правда, в Париже Эренбург был фигурой чрезвычайно популярной. Он сотрудничал во французской коммунистической прессе, часто выступал публично, делал

доклады и т. д.… Эренбург вел в Париже очень богемный образ жизни, говорили о том, что серьезно он не работает, пишет статьи и очерки, только когда ему их заказывают, что с утра до вечера и с ночи до утра он сидит по кафе в какой–нибудь пестрой компании. Много было толков и разговоров о средствах, на которые он живет, и живет хорошо. Об Эренбурге вообще редко кто отзывался как о советском писателе, еще реже как о советском человеке. Его считали по стилю, по духу, по образу жизни своим, не то эмигрантом, не то французом, во всяком случае, типичным

представителем парижской богемы. И мало убедительными казались на этом фоне для тех, кто знал Эренбурга, его советские высказывания, публичные и печатные выступления. Общим впечатлением было, что человек «примазывается» и к Франции, и к Советскому Союзу. «Ласковый теленок двух маток сосет». Сама я, проходя по бульвару, видела Эренбурга на террасе то одного, то другого кафе, то в одной, то в другой компании неизвестных мне людей. Сам по себе этот факт, понятно, нисколько не является преступным… Об антисоветской деятельности Эренбурга я не слышала ничего…»

Видя, что больше уже ничего выудить из Ариадны не удастся, следователи оставили ее в покое на целый месяц.

В это время в Бутырской тюрьме старший следователь Кузьминов ожесточенно добивался показаний от отца Ариадны. На допросе 1 ноября тот обстоятельно рассказал о евразийской организации. Упомянул и о масонах, к которым внедрился по заданию НКВД.

Кузьминов прерывает его:

В том–то и дело, что вы, являясь секретным сотрудником НКВД, не только не помогали последнему, но использовали свою связь с органами в своих антисоветских целях!

Я работал честно, никакой антисоветской работы не проводил.

Кузьминов заходит с другого конца:

Почему же вы скрывали от органов НКВД лиц, ведущих антисоветскую деятельность?

Такие лица мне не известны.

Кузьминов подсказывает: а Клепинины, ваши соседи по болшевской даче?

Я сообщал устно НКВД о том, что я Клепининой не доверяю. Также я сообщал и о Клепинине, что он на почве пьянства много болтает…

Какие антисоветские разговоры вела Клепинина?

Мне трудно вспомнить все… Ну, что в СССР плохо живется,

нет продуктов, ничего нельзя купить. Что люди, издающие советские газеты, безграмотны, бескультурны. Превознося при этом европейскую культуру, она резко выступала против происходящих в стране арестов, говорила, что существует эксплуатация, что восьмичасовой рабочий день фикция, а конституция ширма, за которой скрывается диктатура отдельных лиц. Клепинин соглашался с ней, а подчас и сам вел подобного рода разговоры. Кроме того, я должен также сообщить, что они оба, являясь секретными сотрудниками НКВД, разглашали это посторонним лицам…

Следовательно, устанавливаем, что вы, будучи секретным сотрудником НКВД, не сообщали о случаях антисоветского проявления со стороны Клепининых.

Я ограничился устным сообщением, о котором сказал выше…

Ариадна приводит в своих показаниях и такие возмущенные слова Нины Клепининой: «В НКВД перебили друг друга, и не знаешь, на кого опираться. И какие, в конце концов, гарантии, что Берия будет лучше Ежова?..» А Николай Клепинин однажды, в присутствии Ариадны, разразился грубейшей бранью в адрес Сталина. Испуганная жена тут же осадила его…

Видно, что обитатели болшевской дачи при всей своей советскости уже начали прозревать, меняли свои взгляды и понимали, что попали в безвыход ную ловушку.

Нет сомнения, что Кузьминов, добиваясь показаний, применял к своему подследственному все те физические и моральные истязания, которые испытала и Ариадна, а может быть, и более жестокие. О том, что он явно переусердствовал, говорит тот факт, что в праздник Октябрьской революции, 7 ноября (в этот день арестовали Клепининых и Алексея Сеземана), Эфрон

снова оказался в психушке Бутырской тюрьмы «по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство».

Медицинская справка, составленная 20 ноября, гласит:

«…В настоящее время обнаруживаются слуховые галлюцинации: ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его должны взять, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и его жене, и т. д. Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего–то ужасного. По своему состоянию (острое реактивное душевное расстройство) нуждается в лечении в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы с последующим проведением через психиатрическую комиссию».

Комиссия, осмотревшая больного через два дня, пришла к

выводу:

«…Заключенный Эфрон находится в реактивном состоянии, выражающемся в общей подавленности, угнетенном настроении, неправильном толковании окружающего, слуховых галлюцинациях угрожающего характера, зрительных иллюзиях, некритическом отношении к ним и бессоннице… Отмечаются выраженные явления вегетативного невроза. Нуждается в лечении в психиатрическом отделении Бутырской тюрьмы в течение 30 40 дней и последующем переосвидетельствовании».

Никакого переосвидетельствования не было, Эфрона продержали в психушке еще полмесяца и снова потащили к следователям. Теперь ему уготовили новое испытание очную ставку с человеком, давшим на него обвинительные показания, с Павлом Толстым. Какое значение придавалось этой очной ставке, видно хотя бы по тому, что на нее Кузьминов пригласил военного прокурора И. Антонова. Предполагалось, что теперь–то они «расколют» этого неуступчивого Эфрона.

Вначале Толстой послушно подтвердил свои показания: да, Эфрон в 1928 году привлек его к евразийской организации, а позже для шпионажа в пользу французской разведки.

Вы говорили Толстому о необходимости примкнуть к евразийской организации? спрашивают Эфрона.

Евразийской организации к тому времени не существовало, и подобные разговоры я вести не мог.

Что ж, по–вашему выходит, что Толстой говорит неправду?

Да, я объясняю это тем, что Толстому, видимо, изменила память.

Вопрос Толстому:

Какие задания вы получили от Эфрона перед поездкой в Советский Союз?

Я получил от него два задания: вступить в контакт с остатками троцкистской организации и собирать шпионские сведения, которые должен был передавать французской разведке.

Если я до сего времени полагал, что Толстому изменила память, то сейчас я должен сказать, что это ложь, прокомментировал Эфрон.

Он говорит, что это ложь, лепечет Толстой. Я даже получал от него совершенно конкретные задания. Я получил указания о том, что должен держать контакт с домом Алексея Николаевича Толстого… (Дяд Павла известный официозный советский писатель, впоследствии многократный сталинский лауреат).

И что бы дальше ни говорил Толстой, как бы ни старались следователь с прокурором, Эфрон отвечал твердо:

Я абсолютно отрицаю все, что сказал сейчас Толстой.

Все показания Толстого отрицаю совершенно.

Антисоветских разговоров с Толстым я не вел, а, наоборот, всячески старался вырвать его из белой среды…

Очна ставка ни к чему не привела. Протокол венчает такая многозначи тельна фраза Толстого, сказанная на прощанье:

Сергей Яковлевич, и я в первое врем говорил о том, что я чист, как

кристалл, а потом понял, что нужно сознаваться, и советую вам это же сделать…

В Москве Цветаевой деваться некуда. Сначала они с Муром приютились у сестры Сергея Эфрона Елизаветы Яковлевны, в перенаселенной коммуналке в Мерзляковском переулке. Обратилась к Фадееву, секретарю Союза писателей, тот с жильем отказал, не нашел и комнатушки. Направил через Литфонд в Дом творчества писателей в Голицыне, опять за город, но и там, в самом Доме, разрешили только столоваться, два раза в день, а места для нищей белоэмигрантки, жены и матери врагов народа, не нашлось пришлось снять комнату в частном доме. И за все надо платить, все на птичьих правах. Марина живет в ореоле черной славы литераторы чураютс ее, как прокаженную, в лучшем случае поглядывают жалостливо, не многие отваживаются на общение.

И она еще находит силы бороться за тех, кому сейчас всего горше, за мужа и дочь. Затемно ездит в город в промерзшем поезде и часами простаивает в очередях передать деньги для Али, во внутреннюю тюрьму Лубянки, и Сергею в Бутырки. Не раз писала она и письма властям в защиту своих близких но какие, кому? считалось, что письма эти не сохранились.

И вот одно из них перед нами.

На конверте надпись: «Народному Комиссару Внутренних Дел СССР тов. Л. П. Берия от писательницы Марины Цветаевой».

«Голицыно, Белорусской ж. д.

Дом Отдыха Писателей

23 декабря 1939 г.

Товарищ Берия,

Обращаюсь к Вам по делу моего мужа, *Сергея Яковлевича Эфрона — Андре ева,* и моей дочери *Ариадны Сергеевны Эфрон,* арестованных: дочь 27-го августа, муж 10-го октября сего 1939 года.

Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.

Я писательница, *Марина Ивановна Цветаева.* В 1922 г. я выехала за границу с советским паспортом и пробыла за границей в Чехии и Франции по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической

жизни эмиграции не участвовала совершенно, жила семьей и своими писаниями. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные Записки», одно время печаталась в газете «Последние новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского. Вообще в эмиграции была и слыла одиночкой. («Почему она не едет в Советскую Россию?») В 1936 году я всю зиму переводила для французского революционного хора (Chorale Revolutionnaire) русские революционные песни, старые и новые, между ними Похоронный Марш («Вы жертвою пали в борьбе роковой»), а из советских песню из «Веселых ребят», «Полюшко широко поле» и многие другие. Мои песни пелись.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз. Вернулась я, вместе с 14-летним сыном Георгием, 18-го июня 1939 г., на пароходе «Мария Ульянова», везшем испанцев.

Причины моего возвращения на родину страстное устремление туда всей моей семьи: мужа Сергея Эфрона, дочери Ариадны Эфрон (уехала первая, в марте 1937 г.) и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным–давно уже не связывало ничего.

При выдаче мне разрешения мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.

Если нужно сказать о происхождении дочь заслуженного профессора Московского Университета, Ивана Владимировича Цветаева, европейской известности филолога (открыл одно древнее наречие, его труд «Осские надписи»), *основателя и собирателя Музея Изящных Искусств* ныне Музея Изобразительных Искусств. Замысел музея его замысел, и весь труд по созданию Музея: изысканию средств, собиранию оригинальных коллекций (между ними одна из лучших в мире коллекций египетской живописи, добытая отцом у коллекционера Мосолова), выбору и заказу слепков и всему музейному оборудованию труд моего отца, безвозмездный и любовный труд 14-ти последних лет его жизни. Одно из ранних моих воспоминаний: отец с матерью едут на Урал выбирать мрамор дл Музея. Помню привезенные ими мраморные образцы. От казенной квартиры, полагавшейся после открытия Музея отцу, как директору, он отказался и сделал из нее 4 квартиры дл мелких служащих. Хоронила его вся Москва все бесчисленные его слушатели и слушательницы по Университету, Высшим Женским

Курсам и Консерватории и служащие его обоих Музеев (он 25 лет был директором Румянцевского Музея).

Мо мать Мария Александровна Цветаева, рожд. Мейн, была выдающаяся музыкантша, перва помощница отца по созданию Музея и рано умерла.

Вот обо мне.

Теперь о моем муже Сергее Эфроне.

Сергей Яковлевич Эфрон сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново (среди народовольцев «Лиза Дурново») и народовольца Якова Константиновича Эфрона. (В семье хранится его молодая карточка в тюрьме, с казенной печатью: «Яков Константинович Эфрон. Государственный преступник».) О Лизе Дурново мне с любовью и восхищением постоянно рассказывал вернувшийся в 1917 г. Петр Алексеевич Кропоткин, и поныне помнит Николай Морозов. Есть о ней и в книге Степняка «Подпольная Россия», и портрет ее находится в Кропоткинском Музее.

Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме, среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит: мать в Петропавловс кой крепости, старшие дети Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон по разным тюрьмам. У старшего сына, Петра, два побега. Ему грозит смертная казнь, и он эмигрирует за границу. В 1905 году Сергею Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново — Эфрон, которой грозит пожизненная крепость, эмигрирует с младшим сыном. В 1909 г. трагически умирает в Париже, кончает с собой ее 13-летний сын, которого в школе задразнили товарищи, а вслед за ним и она. О ее смерти есть в тогдашней «Юманите».

В 1911 г. я встречаюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, что бы ни было, с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в Московский университет, филологический факультет. Но начинается война, и он едет братом милосердия на фронт. В Октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых и тут же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых 200 человек. За все Добровольчество (1917 г. 1920 г.) непрерывно в строю, никогда в штабе. Дважды ранен.

Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет, а вот что, может быть, не известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех, кого мог, забирал в свою пулеметную команду. Поворотным пунктом в его убеждениях

была казнь комиссара у него на

глазах, лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. «В эту минуту я понял, что наше дело не народное дело».

Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белых, а не красных? Сергей Эфрон это в своей жизни считал роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, а многие и многие, совершенно сложившиеся люди. В Добровольчестве он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился он из него ушел, весь целиком, и никогда уже не оглянулся в ту сторону.

Но возвращаюсь к его биографии. После белой армии голод в Галлиполи и в Константинополе и, в 1922 г., переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в Университет кончать историко–филологический факультет. В 1923 г. затевает студенческий журнал «Своими путями» в отличие от других студентов, ходящих чужими, и основывает студенческий демократический Союз, в отличие от имеющихся монархических. *В своем журнале первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу (1924 г.)*. С этого часа его «полевение» идет неуклонно. Переехав в 1925 г. в Париж, присоединяется к группе Евразийцев и является одним из редакторов журнала «Версты», от которых вся эмиграция отшатывается. Если не ошибаюсь уже с 1927 г. Сергея Эфрона зовут «большевиком». Дальше больше. За «Верстами» газета «Евразия» (в ней–то и приветствовала Маяковского, тогда выступавшего в Париже), про которую эмиграция говорит, что это открытая большевистская пропаганда. Евразийцы раскалываются: правые левые. Левые, возглавляемые Сергеем Эфроном, скоро перестают быть, слившись с Союзом Возвращения на Родину.

Когда, в точности, Сергей Эфрон стал заниматься активной советской работой не знаю, но это должно быть известно из его предыдущих анкет. Думаю около 1930 г. Но что я достоверно знала и знаю это о его страстной неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном достижении, от малейшего экономического успеха как сиял! («Теперь у нас есть то–то… Скоро у нас будет то–то и то–то…») Есть у меня важный свидетель сын, росший под такие возгласы и с пяти лет другого не слыхавший.

Больной человек (туберкулез, болезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек на глазах горел. Бытовые условия холод, неустроенность квартиры для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах, целое

перерождение человека.

О качестве же и количестве его советской деятельности могу привести возглас парижского следователя, меня после его отъезда допрашивавшего: «Mais Monsieur Efron menait une activitй soviйtique foudroyante!» («Однако, господин Эфрон развил потрясающую советскую деятельность!») Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше, чем я (я знала только о Союзе Возвращения и об Испании). Но что я знала и знаю это о беззавет ности его преданности. Не целиком этот человек, по своей природе, отдаться не мог.

Все кончилось неожиданно. 10-го октября 1937 г. Сергей Эфрон спешно уехал в Союз. А 22-го ко мне явились с обыском и увезли меня и 12-летнего сына в парижскую Префектуру, где нас продержали целый день. Следователю я говорила все, что знала, а именно: что это самый благородный и бескорыс тный человек на свете, что он страстно любит свою родину, что работать для республиканской Испании не преступление, что знаю его 1911 г. 1937 г. 26 лет и что больше не знаю ничего. Через некоторое время последовал второй вызов в Префектуру. Мне предъявили копии телеграмм, в которых я не узнала его почерка, и меня опять отпустили и уже больше не трогали…»

Знала ли Марина о секретной работе мужа? Вот вопрос, который задают все, от которого не уйти.

Этой стороной жизни он с ней не делился реакцию при ее резком неприятии большевизма и чекизма нетрудно было предвидеть.

Неприятие было раз и навсегда. В охваченной лихорадкой революции голодающей Москве 1919 года она читает свои новые стихи в присутствии наркома просвещения Луначарского с нескрываемым вызовом:

Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства…

Скажет потом: «Жаль, что ему… а не всей Лубянке».

А от гонорара за выступление 60 рублей публично откажется: «Возьмите их себе (на 6 коробков спичек), я же на свои шестьдесят рублей пойду поставлю свечку у Иверской за окончание строя, где так оценивается труд».

Видимо, на первых порах, в Париже, она только догадывалась о какой–то хитрой, конспиративной службе Сергея, не ведая, как далеко все зашло, сознательно глуша в себе подозрения, беззаветно довер мужу: значит, так надо! Слишком невыносимой была бы вся правда.

Разразившаяся вдруг катастрофа провал и бегство Эфрона в связи с делом Рейсса окончательно открыла глаза. Страшный удар судьбы надломил, сокрушил Цветаеву. Но не мог ничего изменить в их отношениях с мужем: она была обречена на эту любовь, не зависящую от земных испытаний, ниспосланную, как и поэтический дар, свыше. «Его доверие ко мне могло быть обманутым, мое доверие к нему никогда», сказала она французской полиции. И пошла за мужем дальше на последний, гибельный край. Пошла не вслепую, без всяких иллюзий она, поэт, который видел сны наяву, оказалась трезвее и зорче всех! сознавая, что это дорога на тот свет. Отправилась на родину, понимая: «Здесь я не нужна, там я невозможн а»… Вернулась, хот еще десять лет назад знала: «России нет, есть буквы: СССР, не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят: буквы не раздвинутс я…»

Раздвинулись чтобы проглотить.

И все же не могла иначе. Потому что есть нечто сильнее и места, и времени, и инстинкта самосохранения. Потому что еще раньше, в двадцатилетней давности, в кровавый год революции, поклялась Сергею: «Главное, главное, главное Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления… Если Бог сделает это чудо оставит Вас в живых я буду ходить за Вами как собака!»

Перед отъездом в Москву, перечитав эти давние строки, она написала рядом на полях: «Вот и пойду как собака!..»

Вернемся к письму Цветаевой Берии.

«С октября 1937 г. по июнь 1939 г. я переписывалась с Сергеем Эфроном дипломатической почтой, два раза в месяц. Письма его из Союза были совершенно счастливые жаль, что они не сохранились, но я должна была их уничтожать тотчас же по прочтении, ему недоставало только одного: меня и сына.

Когда я 19-го июня 1939 г., после почти двухлетней разлуки, вошла на дачу в Болшеве и его увидела увидела *больного* человека. О болезни его ни он, ни дочь мне не писали. Тяжела сердечная болезнь, обнаружившаяся через полгода по приезде в Союз, вегетативный невроз. Я узнала, что он эти два года почти сплошь проболел пролежал. Но с нашим приездом он ожил, за два первых месяца ни одного припадка, что доказывает, что его сердечная болезнь в большой мере была вызвана тоской по нас и страхом, что могущая быть война разлучит навек… Он стал ходить, стал мечтать о

работе, без которой *изныл,* стал уже с кем–то из своего начальства сговариваться и ездить в город… Все говорили, что он действительно воскрес…

И 27-го августа арест дочери.

Теперь о дочери. Дочь моя, Ариадна Сергеевна Эфрон, первая из всех нас уехала в Советский Союз, а именно 15 марта 1937 г. До этого год была в Союзе Возвращения на Родину. Она очень талантливая художница и журналистка. И абсолютно лояльный человек. В Москве она работала во французском журнале «Ревю де Моску» (Страстной бульвар, д.11) ее работой были очень довольны. Писала (литературное) и иллюстрировала, отлично перевела стихами поэму Маяковского. В Советском Союзе себя чувствовала очень счастливой и никогда ни на какие бытовые трудности не жаловалась.

А вслед за дочерью арестовали 10 октябр 1939 г., ровно через два года после его отъезда в Союз, день в день, и моего мужа, совершенно больного и истерзанного *ее* бедой.

Первую денежную передачу от меня приняли: дочери 7-го декабря, т. е. 3 месяца, 11 дней спустя после ее ареста, мужу 8-го декабря, т. е. 2 месяца без 2-х дней спустя ареста…

7-го ноября было арестовано на той же даче семейство Львовых, наших сожителей, и мы с сыном оказались совсем одни, в запечатанной даче, без дров, в страшной тоске.

Я обратилась в Литфонд, и нам устроили комнату на 2 месяца, при Доме Отдыха Писателей в Голицыне, с содержанием в Доме Отдыха после ареста мужа я осталась совсем без средств. Писатели устраивают мне ряд переводов с грузинского, французского и немецкого языков. Еще в бытность свою в Болшеве я перевела на французский ряд стихотворений Лермонтова для «Ревю де Моску» и «Интернациональной Литературы». Часть из них уже напечатана.

Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его 1911 г. 1939 г. без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут друзья и враги. Даже в эмиграции, в самой вражеской среде, никто его не обвинил в подкупности, и коммунизм его объясняли «слепым энтузиазмом». Даже сыщики, производившие у нас обыск, изумленные бедностью нашего жилища и жесткостью его кровати («Как, на этой кровати спал г-н Эфрон?»), говорили о нем с каким–то почтением, а следователь так тот просто сказал мне: «Г-н Эфрон был энтузиаст, но ведь энтузиасты тоже могут ошибаться…»

А *ошибаться* здесь, в Советском Союзе, он *не* мог, потому что все 2 года своего пребывания болел и нигде не бывал.

Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом,

словом и делом служил своей родине и идее коммунизма. Это тяжелый больной, не знаю, сколько ему осталось жизни особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрет *не* оправданным.

Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы, проверьте доносчика.

Если же это ошибка *умоляю,* исправьте, пока не поздно.

Марина Цветаева».

По штампам, отметкам и сопроводительным документам ясно, что это письмо было получено в секретариате НКВД 26 декабря, пролежало там почти месяц, до 21 января 1940 года, и было передано все в ту же следчасть «дл приобщения к следделу» помощнику начальника Шкурину.

Никакой резолюции Берии на письме нет, возможно, он даже его не читал.

«И лучшего человека не встретила»

Новый, 1940 год начался для Ариадны очной ставкой с Алексеем Сеземаном следствие применило к ней тот же прием, что и к отцу. Впрочем, тут обошлось без драматических коллизий: молодые люди подтвердили показания друг друга, покаялись в антисоветских разговорах и их развели по камерам.

Другая очная ставка (о ней Ариадна вспоминает в своем позднейшем заявлении прокурору) проходила куда напряженней, может, потому и протокол ее не был подшит к делу.

«Во время моего следствия мне однажды дали очную ставку с одним из товарищей отца, Балтер Павлом Абрамовичем. Я хорошо знала этого человека, но при очной ставке еле узнала его, в таком состоянии он был. Очная ставка проходила под непрерывный оглушительный крик следователя, обрывавшего каждую попытку Балтера что–то сказать «не согласованное» со следователем, каждую мою попытку что–нибудь спросить или опровергнуть. И, однако, вымыслы Балтера о моем отце и обо мне были настолько нелепыми, что удалось их разоблачить, несмотря на такую обстановку. Я знала Балтера как честного, порядочного человека, и мне было ясно видно, до какого состояния он был доведен…»

У Ариадны продолжают требовать все новых показаний. Теперь на сестру матери писательницу Анастасию Цветаеву, к тому времени уже арестован ную и отправленную в лагерь. Ариадна виделась с ней в Москве только несколько раз и больше всего была поражена тем, как встретила ее тетка:

«…До ареста А. Цветаева вела себя очень осторожно, и эта насторожен ность доходила у нее до смешного. Я припоминаю, как она перепугалась, когда я посетила ее в первый раз, вместе с этим до чрезвычайности была удивлена тем, что у меня хватило смелости приехать в СССР в тот момент, когда здесь иностранцев много арестовывают. В последующие мои посещения ее она всякий раз спрашивала меня, видел ли кто из соседей, как я к ней шла, или не следил ли за мной кто на улице. При этом она рассказывала мне, что за ней все время следят из НКВД и что в этом она несколько раз уже убеждалась…»

Ни о каких антисоветских настроениях или действиях Анастасии Цветаевой Ариадна не знала и сказать не могла.

Через месяц ее заставили писать показания на коллег сотрудников журнала «Ревю де Моску». Раскритиковав работу редакции, она рассказала, как пыталась «бороться за журнал» и натолкнулась на инерцию так все там были перепуганы и

деморализованы, не в силах ничего изменить. Что же не нравилось Ариадне в работе журнала?

Положим, выходит номер, посвященный советской науке. В оглавлении в слово «наука» («science») вкралась опечатка и повторяется столько, сколько само слово, то есть раз десять. Это уже выглядит не просто опечаткой… Конечно, наборщик, не владеющий французским, может ошибиться, а усталый корректор проглядеть. «Но как должен был отнестись к такому факту читатель, недоумевает Ариадна, не должен ли он был рассматривать это как проделки врага? Толкуют о науке, а сами этого слова не могут правильно написать по–французски! Хороша наука!» Возмущенные сотрудники потребовали от редактора перепечатать четыре полосы журнала, чтобы не посылать такого позора за границу. И что же? Несмотря на все это, ничего исправлено не было, французский читатель получил брак.

Особенно негодует Ариадна на то, что редактор Кобелев не отвечает на письма читателей. А тот говорит ей:

Ну знаете, с заграницей сейчас вести переписку дело рискованное, сейчас же попадешь в шпионы. Да и кто их знает, этих французских

рабочих, пишет, что он рабочий, а на самом деле, может быть, фашист!..

И вообще, считает Ариадна, сама не подозревая, что занимается антисоветской пропагандой, периодика, котора выпускается в СССР для иностранцев, продукция никуда не годная, а зачастую и вредная. Взять хотя бы формат. «Формат большой и неудобный… В этом смысле мы должны многому учиться у наших врагов! Фашистские пропагандные издани по внешнему виду вполне подходят для назначенных целей. Их и покупают, и сворачивают, и в карман кладут…» А бумага, псевдомеловая, так называемая «экспортная»! Никуда не годная бумага! «Бумага эта делается на рыбьем клею и обладает чудовищным запахом, ничем не вытравимым. Легко можно представить, какого пропагандного успеха достигает журнал, от которого воняет как из помойной ямы. Те несчастные французские читатели, которые пробовали собирать комплекты «Ревю», письменно умоляли редакторов не печатать журнал на такой бумаге, ибо либо комплект выноси из комнаты, либо сам в ней не живи… Не стыдно ли печатать на вонючей бумаге о наших достижениях, не слишком ли выгодна такая пропаганда для наших врагов? Чья же вина?..» И, наконец, сам материал, содержание. «Материал подбирался непродуманно, с бору по сосенке. В редакционной работе рьяное участие принимали ножницы и банка с клеем, составлялись винегреты из передовых

«Правды», подвалов «Известий» и репортажей «Вечерки» то есть из тех материалов, которые Франция получает по воздушной почте на другой день и месяца через три после этого опять читает в «Ревю де Моску». Таким образом, информация приходила после того, как все французские газеты уже откликнулись на это. Такая пропаганда, така информация только козырь в руках наших врагов. Особенно возмутительными являлись подобные факты по отношению к речи товарища Сталина…»

Что же, неужели не понимала Ариадна, жалуясь на своих коллег в НКВД, чем это чревато? Не понимала ее опять подводила простодушная праведность, незнание советской жизни с ее узаконенной лживостью, двойной моралью. Никакого злого умысла тут не было, а только неумение жить в тех правилах игры, которые ей предлагались и которые ее коллеги давно усвоили. Они–то, будучи советскими, пытались, кто как может, остаться людьми, а она, будучи хорошим человеком, изо всех сил старалась стать советской.

И при всем том, добавляет Ариадна, отношения с сослуживцами у нее были вполне нормальными. «Ни личной злобы, ни особой личной приязни я к ним не испытывала». Парадокс заключается еще и в том, что тот же редактор Кобелев, как выясняется, был секретным сотрудником органов, так что Ариадна жаловалась НКВД на сам НКВД…

Только в марте следователь Иванов, уступив настойчивым требованиям Ариадны, зафиксировал в протоколе допроса ее отказ от показаний на отца и то в туманных выражениях: «Я хочу обратить внимание следствия на ту часть моих показаний, где речь идет о моем разговоре с отцом, Эфроном, который у меня якобы состоялся с ним перед моим отъездом в Советский Союз, там я показала неправду. Такого разговора с отцом у меня не было…» В сущности, эта поправка ничего уже не могла изменить в ходе следствия.

В это же время начальство решило выделить материалы на Ариадну из группового следственного дела № 644 (восьми объемистых томов), куда уже были втянуты кроме Эфрона и Толстого и другие секретные сотрудники НКВД, работавшие во Франции, Николай и Нина Клепинины, Эмилия Литауэр (арестована 27 августа 1939 года) и Николай Афанасов (арестован 29 января 1940 года), и в дальнейшем вести отдельно. Видимо, ее преступления выглядели уж слишком легковесными даже с точки зрения лубянских законников.

Все же 15 мая Ариадне было объявлено так называемое постановление о предъявлении обвинения: измена родине и антисоветская пропаганда. После

довали новые допросы, и тут она, кажется уже сломленная и покорная после сокрушительных атак следствия, вдруг обрела неожиданную твердость стала отвергать предъявленные ей обвинения сначала в антисоветчине, а затем и в шпионаже. Когда взбешенный Иванов снова начал потрясать показаниями Толстого (ничего другого против нее и не было), она отчеканила совсем как ее отец:

Из тех разговоров, которые у меня были с Толстым, у меня о нем сложилось мнение как о человеке морально и политически разложившемся, большом аферисте. Как выясняется сейчас, он еще и клеветник…

Следствие, по существу, было провалено.

Чтобы хоть как–то слепить обвинение, Иванов наспех пытается связать его с делами других арестованных, еле знакомых и даже вовсе не известных Ариадне. Но она все упорно отвергает. Это не мешает Иванову объявить следствие законченным: 16 мая он составляет обвинительное заключение, в котором повторяет все фальсифицированные признания и записывает: «Эфрон виновной себя признала». Подлог был столь очевиден, что против этой фразы на полях документа вырос чей–то жирный вопросительный знак синим карандашом.

Иванов явно опростоволосился со своей подследственной, не предвидел, что к ней вернется второе дыхание и способность к сопротивлению. Но это уже ничего изменить не могло. На следователя работала вся государственная машина, а она не поворачивала вспять.

Обвинительное заключение было направлено в прокуратуру для передачи по подсудности.

А в Бутырской тюрьме начальники Иванова Кузьминов и Шкурин по ночам продолжали «обработку» Эфрона. Теперь его сводят на очной ставке с Николаем Клепининым, уже сломленным и подписавшим все, что ему навязали. Происходит то же, что и в сцене с Толстым: Клепинин доказывает, что Эфрон французский шпион, а тот это наотрез отрицает. Следователи пытаютс то запутать Эфрона, на разные лады подталкивая к желаемому ответу, то поймать на каких–нибудь оговорках и мелочах. А он все время возвращает разговор к тому, что работал в Париже на СССР, ну, например, пользовался советской помощью при издании газеты «Евразия».

Непонятно, с каких это пор Советская власть, по–вашему, должна была оказывать помощь белогвардейцам в издании такого органа, который направлен против нее? иронизирует следователь.

«Дурак!» комментирует эти слова на полях кто–то из начальников, читавших протокол допроса. Пробольшевистский

дух этой газеты известен. Следователь явно дал маху, вот и получил по носу. У переутомленных лубянских служак тоже сдают нервы!

Очная ставка продолжается. От Клепинина требуют фактов и доказательств работы Эфрона как французского агента, а он говорит:

Я был завербован Эфроном в советскую разведку в середине 1933 года… Целью этих вербовок была возможность получения советского гражданства, на что мне Эфрон прямо и указал…

По словам Клепинина, Эфрон перебрасывал людей в Советский Союз не для строительства социализма, а, наоборот, для его сокрушения.

Далее Клепинин сообщил нечто еще более таинственное:

В конце 1934 года я узнал, что Эфрон входит в состав масонства. Я узнал также, что русская масонская ложа состоит из целого ряда виднейших представителей различных белоэмигрантских группировок и является филиалом иностранных разведок. Меня удивило не то, что Эфрон туда вошел, а то обстоятельство, что масоны приняли его в свой состав, так как в это время в Париже было широко известно о контакте Эфрона с полпредством и Союзом возвращения и ходило много слухов о его связях с советской разведкой.

На мои расспросы Эфрон сообщил, что масоны знают об этих контактах, но именно это обстоятельство заставляет их им дорожить, потому что в план масонства входит проникновение в Советский Союз, установление связи с оставшимися там тайными масонами, сотрудничество с теми тайными членами, которые занимают сейчас руководящие посты в партии и правительстве, восстановление капитализма и буржуазно–демократического строя, а в связи с этим выход масонства из подполья…

Я ничего не понимаю, ответил на это Эфрон. Я не представляю, что Николай Андреевич говорит такое без задней мысли… Я ставлю прямой вопрос: был ли я связан, по его мнению, с какими–либо разведками?

Да! говорит Клепинин. Я уже показал о твоих связях с французской разведкой через масонов.

Тогда еще один вопрос. Ты сказал, что долго отсутствовал, и вместе с тем ты знаешь все больше меня. Откуда ты все это узнал?

Из других источников… отвечает Клепинин.

У меня, к сожалению, никаких вопросов нет, заканчивает спор Эфрон.

«Другими источниками», ясно, были не кто иные, как сами следователи, подробно наставлявшие несчастного Николая

Андреевича, как «расколоть» его бывшего товарища.

Сколько душевных терзаний и крушений духа стоит за пожелтевшими страницами протоколов, сквозь которые, кажется, вот–вот брызнут слезы и кровь! Что же на самом деле происходило в лубянских камерах и кабинетах, какие лютые страсти и сцены здесь разыгрывались, до каких пределов бесчеловечности доходил человек? Всей правды об этом мы уже никогда не узнаем.

Перед тем как проститься и уйти, Николай Андреевич Клепинин вдруг обратился к Эфрону с такими, совсем не протокольными, словами:

Сережа, дальше запираться бесполезно. Ты меня знаешь хорошо, я хорошо знаю твою работу. Есть определенные вещи, против которых бороться невозможно, так как это бесполезно. У тебя единственный выход это признаться во всем. Рано или поздно все равно ты признаешься и будешь говорить…

Клепинина уводят, Эфрон остается. Следователь напоминает ему о его заявлении, направленном наркому внутренних дел Берии после ареста его дочери и Эмилии Литауэр, в котором он ручался за их политическую честность головой.

Вы подтверждаете это заявление?

Подтверждаю полностью.

И в кабинет тут же вводится еще одно действующее лицо Эмилия Литауэр.

Вам известно сидящее перед вами лицо?

Да, это мой товарищ и друг Эмилия Литауэр, говорит Эфрон.

Да, это мой друг Эфрон Сергей Яковлевич, говорит Литауэр.

И снова тот же сценарий она послушно повторяет вбитую во всех арестованных версию НКВД: да, были евразийцами, да, внедрились потом она во Французскую компартию, он в советскую разведку, да, перебрасывали людей в СССР и перебросились сами, и все это с единственной целью шпионить в пользу Франции.

Как видите, уже третий сообщник изобличает вас, обращается следователь к Эфрону. Может быть, вы в конце концов прекратите запирательство?

Если все мои товарищи считают меня шпионом, и Литауэр, и Клепинин, и дочь, отвечает он, то, видимо, шпион и под их показаниями подписуюсь.

Следователи ушам своим не верят.

Вы не только пытаетесь скрыть свои шпионские дела, но и пытаетесь

спровоцировать следствие. Что значит ваше заявление, что «я подписуюсь, что я шпион»?

Эфрону делается плохо он просит прекратить допрос.

Вы готовы дать показания? продолжает следователь.

Я не могу отвечать.

Не объясните ли нам, почему Эфрон проявляет такое упорство? следователь обращается к Литауэр.

Очень просто, говорит она, дело в том, что мы с Сережей еще задолго до ареста договорились не выдавать друг друга. Он мне говорил, что считает меня твердокаменной, и я была о нем такого же мнения.

Как видите, рухнули ваши планы на сговор! торжествует следователь.

Никакого сговора не было, возражает Эфрон. Но я верил Литауэр на все сто процентов…

Почему же вы не хотите говорить правду?

В моем положении единственный выход это давать показания.

В чем вы признаете себя виновным?

Я признаю себя виновным в той же мере, как и мои товарищи признают себя и обвиняют меня.

Называйте вещи своими собственными именами и говорите конкретно! На какие разведки вы работали?

Я ничего не могу сейчас сказать… Мне говорить нечего…

И дальше в протоколе появляется долгожданная для следователей фраза: «Моя вербовка произошла в 1931 году. В конце своей деятельности во Франции я обнаружил, что работаю не только на советскую разведку, но и на французскую. Я действовал в связи с масонами, а вся масонская организация в целом и является органом французской разведки…»

Под этими словами стоит подпись Эфрона. Откуда она взялась? Застави ли подписать силой? Или подделали? Все может быть. Но то, что дело тут нечисто, выдает следующий вопрос:

Вы признаете себ виновным?

Я все расскажу, но хочу еще раз поговорить с Клепининым.

Вводят Клепинина.

В чем ты меня обвиняешь, скажи прямо? спрашивает Эфрон.

Клепинин пространно повторяет свои показания.

Теперь вам ясно? спрашивают Эфрона.

Мне ясно.

На какие разведки вы работали?

Пусть на это ответит Клепинин. Я прошу отложить дальнейшие показания…

Отложим, только скажите, на какие разведки вы работали?!

Я работал на те же разведки, на которые работала и группа моих товарищей…

Так напечатано в протоколе. Но вот что важно: подписывая документ, Эфрон исправил эту фразу, переделал все на единственное число: «Я работал на ту же разведку, на которую…» то есть подчеркнул, что вся группа работала на одну разведку советскую.

Еще одна перестановка действующих лиц: Клепинина удаляют и заменяют на Литауэр. И не отпускают уже доведенного до припадка Эфрона, несмотря на его просьбы.

Последний раз предупреждаем будете говорить правду?

Я говорю правду. Я состоял в организации, которая была связана с иностранными разведками, но шпионом не был.

Он занимался, как и я, шпионской деятельностью, по команде следователей заводит сказку про белого бычка Литауэр.

Я ничего не скрываю… Я не могу говорить… повторяет Эфрон.

Вы на всем протяжении очной ставки путаете и провоцируете следствие. Вы же сегодня признали себя виновным. В каком случае вам можно верить?

И в том, и в другом. Пусть меня изобличают…

Сережа, говорит на прощанье Литауэр, еще раз советую во всем признаться. Я говорю это тебе как друг…

Можно представить себе досаду и злость Кузьминова со Шкуриным какой промах! Почти добились своего, почти доломали, так потрудились и все зря. Почти попалась птичка и выпорхнула.

Видимо, этот поединок опять подкосил Эфрона, уложил на больничную койку в следствии его наступил перерыв на целых полтора месяца.

Однако и на последовавших в феврале и марте допросах он стоял на своем, не уступал позиции. Отрицая все обвинения и против себя, и против его друзей, напоминал о своих заслугах перед советской властью:

Я антисоветской деятельностью не занимался, а был сотрудником НКВД, работал под контролем соответствующих лиц, руководивших секретной работой за границей…

Характер вашей конспиративной работы с советскими учреждениями нас меньше всего интересует, откровенно заявляет ему следователь. Будучи сотрудником НКВД, вы в то же время являлись шпионом иностранных разведок.

Это неправда. Прошу прервать допрос, я плохо себ чувствую…

Подпись его все более искажается, становится похожа на каракули. Допрос часто прерывается видимо, он уже физически не выдерживает этой пытки, превращающей его в безжизненное

тело. Тем не менее через несколько дней новый допрос, и все повторяется со всевозможными вариациями:

Вы лжете и будете изобличены в этом!

Все равно. Пусть изобличают…

Почему вы скрываете связь с иностранными разведками?

Я не скрываю, а отрицаю это.

Думаете, вам удастся уйти от ответственности?

Я принимаю ответственность за всю мою прошлую жизнь, но не могу принять на себя ответственность за то, чего не было…

Он не только отрицает обвинения против себя ни разу не уступил нажиму следствия и не дал обвинительных показаний против своих товарищей. А когда речь зашла о его дочери, попросил очную ставку с ней. Но возможности увидеть Ариадну и что–нибудь узнать о ней Эфрону не дали: вдруг это вдохнет в них новые силы?

Маленькая, но характерная деталь: следователь (на сей раз это был приставленный к Ариадне Иванов), упрекая Эфрона во лжи, всюду в протоколе пишет это слово «лож» без мягкого знака, такие вот грамотеи служили на Лубянке!

В апреле Эфрона опять переводят в Лефортовскую тюрьму и там бросают на него свежие силы лейтенанта Н. В. Копылова, который тоже не щадит своего подследственного: один из его допросов продолжался без перерыва тринадцать часов! И снова не все оформлялось протоколами: в справке Лефортов ской тюрьмы указано не меньше десятка допросов, о которых в деле Эфрона не осталось никакого следа.

Теперь требуют показаний о тех эмигрантах, которых Эфрон завербовал дл работы в советской разведке, это, в основном, члены Союза возвращения и Французской компартии. Среди них, на переднем плане, те, кто принимал участие в деле Рейсса.

Тут ему действительно было что рассказать.

Вот только несколько характеристик:

«…Смиренский Дмитрий Михайлович сын священника, работал под моим руководством… В 1939 г. приехал в Советский Союз, в результате того что был провален делом Рейсса. Французские и швейцарские власти привлекали Смиренского в связи с убийством Рейсса к уголовной ответственности и посадили в тюрьму, в которой он просидел около года, после чего из–под стражи был освобожден и выслан из Швейцарии… Он принимал участие в предварительной подготовке дела Рейсса, в самом акте Смиренский участия не принимал… Мне это известно от ряда лиц, которые были прямо или косвенно замешаны в это дело, от Клепининых и Кондратьева…»

«А. Чистоганов выполнял работу по внешнему наблюдению за

Седовым (сын Троцкого), но провалился и был замечен им. Седов обратился к французской полиции, которая задержала его, допросила и отпустила. Ввиду того что Чистоганов обнаружил за собой жесткое наблюдение французской полиции, то с ним на время была прекращена всякая связь. Через год Чистоганов снова начал выполнять отдельные поручения по выяснению каких–то адресатов…»

«Де — Судьяр… Я сообщил о состоявшемся моем знакомстве с Де — Судьяр своему руководству, которое предложило постепенно обрабатывать его в советском духе. После неоднократных встреч с Де — Судьяром я его и привлек для секретной работы с НКВД, на которую он пошел очень охотно… Де — Судьяр вербовался как француз, носивший аристократическую фамилию, политичес ки не скомпрометированный, занимавший ответственное место в коммерческом предприятии. Предполагалось получить через него информацию о фашистской организации «Железный крест», связанной с русскими белогвардейскими группами…»

Всего Эфрон называет около тридцати человек, которых он привлек с 1932 по 1937 год в Париже к секретной работе для НКВД. Среди них есть те, сотрудничество которых с Лубянкой уже несомненно, степень «причастности» других неясна и требует еще доказательств.

Называет Эфрон и представителей советской разведки Жданова, Смирнова, Азарьяна и Кислова, последний непосредственно руководил работой Эфрона…

Картина впечатляющая! Париж в это время буквально кишел советскими агентами. И каким умелым ловцом человеков оказался Сергей Эфрон, сколько пользы принес НКВД, и делал это искренне, убежденно, не за страх, а за совесть! Именно ему и было поручено заместителем начальника Иностранного отдела НКВД Сергеем Михайловичем Шпигельглассом руководство группой, готовившей устранение Рейсса. Об этом есть свидетельство в письме Ариадны в прокуратуру 28 июня 1955 года. Она предлагает допросить старую знакомую Эфрона Елизавету Хенкину, которая «хорошо помнит, как и кем проводилось задание, данное Шпигельглассом группе, руководимой моим отцом, как и по чьей вине произошел провал этого дела…».

На допросах Копылов, долбя как попугай, все пытался выжать из своего подследственного какой–нибудь компромат на названных лиц, однако и на сей раз всякую антисоветскую или шпионско–враждебную деятельность их Эфрон отрицал:

Я говорю правду. Я могу ошибиться в ответе, потому что

память мне может изменить, но сознательной неправды я не говорил и говорить не буду.

Конечно же, на Лубянке прекрасно знали, кто такой Эфрон на самом деле. В досье есть справка о его секретной работе:

«В 1931 г. Эфрон был завербован органами НКВД, работал по освещению евразийцев, белоэмиграции, по заданию органов вступил в русскую масонскую ложу «Гамаюн». В течение ряда лет Эфрон использовался как групповод и активный наводчик–вербовщик, при его участии органами НКВД был завербован ряд белоэмигрантов, по заданию органов провел большую работу по вербовке и отправке в Испанию добровольцев из числа бывших белых. В начале гражданской войны в

Испании Эфрон просил отправить его в республиканскую Испанию для участия в борьбе против войск Франко, но ему в этом по оперативным соображениям было отказано.

Осенью 1937 г. Эфрон срочно был отправлен в СССР в связи с грозившим ему арестом французской полицией по подозрению в причастности к делу об убийстве Рейсса. В Советском Союзе Эфрон проживал под фамилией Андреев на содержании органов НКВД, но фактически на секретной работе не использовался. По работе с органами НКВД Эфрон характеризовался положительно и был связан во Франции с б. сотрудниками Иностранного отдела НКВД Журавлевым и Глинским».

Судьба почти всех советских разведчиков руководителей Эфрона оборвалась рано, еще до его ареста. В 1937 году, когда Ежов подверг чистке Иностранный отдел НКВД, многие из них были расстреляны в тех же самых застенках.

Дополнительный свет на агентурную работу Эфрона проливает данное в 1956 году при его реабилитации свидетельство старого, почетного чекиста В. И. Пудина:

«С 1935 по 1938 г. я работал в Иностранном отделе НКВД и занимался разработкой активных белогвардейских организаций за рубежом… Организа ция евразийцев была создана в 20-х гг., являлась малочисленной, активной антисоветской деятельности не проводила, а поэтому ей очень мало уделялось внимания и активной разработки по линии борьбы с ней не велось… В 1938 г. я в школе ИНО НКВД читал лекции об антисоветских белоэмигрантских организациях и о методах борьбы с ними. В своих примерах я даже не приводил как антисоветскую организацию евразийцев…

В Иностранном отделе НКВД не было никаких данных о принадлежности Клепининых и Эфрона к агентуре иностранных разведок, работавших против СССР, поэтому работники нашего отдела возмущались арестом этих лиц. Мне не известно, чтобы

руководители отдела в официальном порядке ставили вопрос о необоснованности ареста этих лиц… Клепинины — Львовы и Эфрон по работе как агенты нашей разведки характеризовались только положительно».

В те же дни в прокуратуре допросили в качестве свидетеля Е. А. Хенкину — Нелидову, парижскую подругу семьи Эфрона и его коллегу по секретной работе. Она дала Сергею Яковлевичу восторженную характеристику:

«Эфрон был очень умный, порядочный человек, он принадлежит к числу таких людей, которые за идею готовы пойти на все, которые не могут кривить душой, играть двойную игру. При встречах Эфрон говорил мне, что очень сожалеет о своих ошибках в прошлом, сожалеет о том, что служил в Белой армии и вообще не понял сразу Советскую власть… Я чувствовала, что Эфрон окончательно порвал с прошлым, сложившиеся у него новые взгляды на жизнь были если не в полной мере марксистскими, то, во всяком случае, очень близкими к этому. В своей работе Эфрон доказывал, что его слова о любви к родине и об удовлетворенности происходящим в СССР являются не просто словами. Эфрон много работал в Союзе возвращения на Родину, принося большую пользу в смысле завоевания симпатий членов Союза к советской стране. Эфрон также очень много сделал как неофициальный сотрудник наших органов. Об этом мне стало известно от работников советского консульства, отдельные поручения которых я выполняла. Личность Эфрона может охарактеризовать также то, что антисоветски настроенные белоэмигранты отрицательно относились к Эфрону, называя его «ренегатом» и т. д. Такое отношение со стороны врагов Советской власти говорит о том, что Эфрон был другом Советской власти. Я старый человек, повидала многих людей, научилась в них разбираться. Я твердо заявляю, что Эфрон один из немногих, за которых я могу поручиться чем угодно. Эфрон действительно честный человек, а свои

прошлые ошибки он не только не скрывал, но и бичевал себя за них, стараясь в какой–то мере загладить свою вину перед советской страной».

В начале июня в следствии по делу Эфрона решено было поставить точку. Совершив круг по московским тюрьмам, он снова очутился на Лубянке. Следователь Еломанов составляет соответствующий протокол, Эфрон, «ознакомившись с материалами дела, дополнить следствие ничем не имеет». Подписывается он с трудом, как ребенок, большими неровными буквами.

А потом в деле идет протокол еще одного допроса от 9 июня

документ неожиданный и очень странный, одним махом разрубающий для следствия все узлы. Эфрон с первого же вопроса заявляет: «Да, я являлся агентом французской разведки…» показывает, что был завербован масонами, в частности неким Петром Бобринским, и получил задание «установить знакомство с советской колонией и приближать к себе русских эмигрантов»…

Так что же все–таки сломали? Вряд ли. Внимательное изучение этой бумаги приводит к выводу: перед нами фальшивка. Подпись Эфрона настолько искажена и трудноузнаваема, что или была поставлена им в невменяемом состоянии, или вообще другим лицом. А может быть, добыта заранее, на чистом листе: текст «признания» и подпись не стыкуются, слишком разнесены…

Сомнения рассеивает следующий документ в деле постановление о продлении срока следствия: «…Эфрон С. Я. являетс резидентом французской разведки, виновным себя не признал… принимая во внимание, что следствие еще не закончено… возбудить ходатайство о продлении срока следствия…»

В ежедневной борьбе за жизнь, в постоянной заботе достать денег, еды, дров, керосина, в изнурительном переводе, изводе себя на чужие стихи, в тревоге и боли за близких, в холоде, унижении и страхе прошли зима и весна в Голицыне.

Теперь и отсюда гнали. Цветаевой предложили освободить комнату. И снова встала проблема: куда деться? И опять чужой дом, временное пристанище. Нашлись добрые люди искусствовед Александр Георгиевич и художница Наталья Алексеевна Габричевские, на лето, пока будут в Крыму, предложили пожить в своей квартире.

Поселились, как пишет Цветаева в своей рабочей тетради, «в комнате Зоологического музея… покой, то благообразие, которого нет и наверное не будет в моей… оставшейся жизни…».

В этом доме она и пишет свое третье письмо в НКВД.

«Москва, 14 июня 1940 г.

Народному Комиссару Внутренних Дел

тов. Л. П. Берия

Уважаемый товарищ,

Обращаюсь к вам со следующей просьбой. С 27-го августа 1939 г. находится в заключении мо дочь, Ариадна Сергеевна Эфрон, и с 10-го октября того же года мой муж, Сергей Яковлевич Эфрон (Андреев).

После ареста Сергей Эфрон находился сначала во Внутренней тюрьме, потом в Бутырской, потом в Лефортовской и ныне опять переведен во Внутреннюю. Моя дочь, Ариадна Эфрон, все это время была во Внутренней.

Суд по тому, что мой муж, после долгого перерыва, вновь переведен во Внутреннюю тюрьму, и по длительности срока заключения обоих (Сергей Эфрон 8 месяцев, Ариадна Эфрон 10 месяцев) мне кажется, что следствие подходит а может, уже и подошло к концу.

Все это время мен очень тревожила судьба моих близких, особенно мужа, который был арестован больным (до этого он два года тяжело хворал).

Последний раз, когда я хотела навести справку о состоянии следствия (5-го июня, на Кузнецком, 24), сотрудник НКВД мне обычной анкеты не дал, а посоветовал мне обратиться к вам с просьбой о разрешении мне свидания.

Подробно о моих близких и о себе я уже писала вам в декабре минувшего года. Напомню вам только, что я после двухлетней разлуки успела побыть со своими совсем мало: с дочерью два месяца, с мужем три с половиной, что он тяжело болен, что я прожила с ним 30 лет жизни и лучшего человека не встретила.

Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, разрешить мне просимое свидание.

Марина Цветаева.

Сейчас я временно проживаю по следующему адр.:

Москва, улица Герцена, д.6, кв.20. (Телеф. К-0–40–13)».

Судьба и этого послани та же, что и предыдущих: его отправляют в следчасть и замуровывают в канцелярскую папку без ответа.

Прежде всего бросается в глаза «вы» по отношению к наркому уже с маленькой буквы. Обращение не к личности, как в первом письме, а к безликому учреждению. И достоинство при очевидном отчаянье! «Лучший человек» главному палачу про его жертву при всеобщем гипнозе страха, когда самые близкие люди отрекались друг от друга. «Лучший человек» несмотря ни на что, уже давно зная о двойной жизни Сергея и роковой роли в постигшей их семью участи.

Жажда подвига, романтический склад души, самоотверженное служение в этом они были похожи. Только служили разным богам. Она поэзии, он политике. Она звала: летим? А он ходил по земле, ему была нужна внешняя точка опоры, заемная социальная идея: сначала Белое движение, потом евразийство и наконец русский коммунизм. «Идеалист, влюбленный в пятилетку» как кто–то его назвал. А дети Ариадна и Мур разрывались между отцом и матерью и больше всего хотели обрести независимость, встать на собственные ноги и тоже на земле… «Союз одиночеств» как говорила Ариадна.

Маринины одиночество и обреченность были особого рода.

Максимализм поэта требовал невозможного. Она изнемогала от быта, мелкой обыденности, которая держала ее в тисках. От того, что возможность близости с каждым и своим, и чужим была исчерпана, а она, жаждущая обновления любви (этим жила!), всем мешала, казалась старой. От фатального разлада с враждебной ей современностью ее высокое поколение уходило из жизни, а она оставалась «одна за всех… противу всех».

Она несла на себе дар поэтического служения, кроме груза сегодняшнего дня. И этой ноши с ней разделить не мог никто. Даже собственные дети судили ее и осуждали. И отец казался им добрым и милостливым, а мать неудобной и неуживчивой. Она, которая наполняла жизнь высшим смыслом, делала ее значительной, оправдывала перед лицом вечности.

«Ты уцелеешь на скрижалях»

Суда Ариадна так и не дождалась. Особое совещание при НКВД 2 июля 1940 года без нее, заочно решило: «заключить в исправительно–трудовые лагеря сроком на восемь лет».

Из Бутырской тюрьмы ее взяли на этап и забросили далеко на Север, в один из концлагерей, затерянных на снежных просторах республики Коми. Вся ее судьба будет смята и безнадежно изуродована. Много лет спустя она скажет о себе: «Я прожила не свою жизнь…»

Участь отца навсегда останется в ней незаживающей раной. Много позднее, после лагеря, из сибирской ссылки, она, прося прокуратуру о его реабилитации, скажет: «Писать об отце «вообще» это значит написать целую книгу… Все было дико, несправедливо, лживо, никому не нужно, все шло от клеветы и вело к расстрелу. Я очень прошу Вас со всей беспристрастностью и справедливостью разобраться в деле отца. Пусть это будет не скоро но пусть это будет!..»

Следствие по делу Сергея Эфрона протянется еще целый год после осуждения Ариадны, и, поскольку об этом времени в его досье нет ни слова, зияющий провал, можно догадаться, что он так и не сдался до конца. 6 июля 1941 года он и его содельники встретились в зале заседаний Военной коллегии Верховного суда чтобы проститься уже навсегда и произнести свое